

Вера Лимонченко

Тема детства в творчестве Максимилиана Волошина

Особенное место Максимилиана Волошина в культурном мире Серебряного века замечается легко и наиболее выразительно эта особенность представлена сращенностью его имени с четко очерченным пространством, что позволяет восполнить знакомство с его творчеством через книги и картины входением в окрест лежащую реальность Коктебеля и уже не понять – Волошин ли и есть *genius loci* Коктебеля, то ли Коктебель стал духом-покровителем Волошина. Странничество как одно из сущностных проявлений человеческого бытия в XX веке обернулось псевдоморфозом – туризмом, в котором исчезает способность видеть из пережитого опыта и работает видение по наработанному другими штампу. Но перед обаянием волошинского мира устоять трудно и даже туризм в Коктебеле преобразуется.

С. Франк, мыслитель очень чуткий именно к реальности видения и оформленности мысли, в статье памяти Льва Толстого нашел слова, которые могут стать методологическим принципом для понимания М. Волошина: *«Я повторяю свой вопрос: за что, собственно, мы любим Толстого? И тут вряд ли могут быть сомнения и разногласия; мы любим его не за его художественный гений и не за его отвлеченное учение; то и другое сияет для нас лишь отраженным светом – светом его души»*¹. XX век урезал библейское понимание души и из объемной смысловой полноты оставил противопоставленность ее телу, у С. Франка же речь идет о душе как индивидуализировано представленной жизненности, что в современном языке соответствует личности. Итак, особенность места М. Волошина в культуре Серебряного века засвидетельствована его личностью и именно поэтому его творчество обретает весомую достоверность.

Но как и из чего мы черпаем очевидность личностного бытия, когда исключена возможность непосредственного общения, которое, кстати, тоже не дает искомой полноты и основательности, застревая на субъективной предвзятости, на предпонимании, предстающим априорным условием восприятия? Г. Померанц замечает, что одной из самых значительных идей Ф. М. Достоевского есть идея о том, что Идея умерла: *«Идея высказывается во всем блеске, но ей не верят, а смотрят, что делает человек, одержимый ею»*². Именно такая двойственность взгляда превращает высказываемое в свидетельство, которое может быть понято как бытийно заряженное

¹ Франк С. Л. Памяти Льва Толстого // Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб.: Наука, 1996. – С. 447.

² Померанц Г. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. – М.: Советский писатель, 1990. – С. 81; 86.

слово³. Отсюда рождается интерес к мемуарной и исповедальной литературе. Первые слова по отношению к Волошину – поэт и художник и это оспорить трудно. Но для меня наиболее впечатляющ и поразителен Волошин в сфере *собственно философской*, смысловым истоком которой предстает поэзия.

Личностный облик Волошина может быть выявлен через рассмотрение его творчества в свете проблематики детства, ведь непосредственная, чаще всего бессознательная, продуктивность детства легко соотносима с творчеством в сфере изобразительно-поэтической. Но в случае с М. Волошиным возникает новая ситуация. Он очень чуток к феномену детства – и это упоминалось многими: и в воспоминаниях о нем, и в работах по его творчеству детскость как составляющую его способа относиться к миру замечали многие. Хотя у Волошина присутствует не только состояние детства, а и тема детства, т. е. сознательно фиксированное осмысление этого феномена, что делает его творчество особенно значимым для размышлений о природе детства. Его строки *«Ребенок непризнанный гений Среди буднично-серых людей»* упоминаются столь часто в работах по детству, что авторство почти стерлось. Для меня же лейтмотивом темы детства у М. Волошина видятся его слова из письма М. В. Сабашниковой *«Почему время перестало у меня теперь останавливаться, как оно иногда останавливалось в детстве по вечерам при свете лампы?»* (28 сентября 1905) и, следовательно, цикл *«Когда время останавливается»*.

Чаще всего детство рассматривается в свете педагогическо-дидактическом: это период подготовки к взрослой жизни, задающий основание для будущих деяний. В XX веке детство стало плодородной нивой для выращивания психоаналитических концепций. Меня же интересует детство как метафизический феномен: во-первых, как некоторая сущность, несущая свое содержание в себе, а не как служебная причинность для чего-то иного; во-вторых, как архе человеческого бытия – то первое, что первое не столько по времени, сколько по смыслу и значимости; в-третьих, как состояние чаемое, ведущее к спасению. Этот аспект выпукло явленный в христианстве – детство есть состояние, связанное со спасением: в Новом Завете детство напрямую поставлено в связь со спасением – *если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное* (Мтф 18:3). Первое, что видимо сразу: если в естественном порядке детство принадлежит прошлому и поэтому не может не быть оставлено позади как подготовка к взрослой жизни, то в Евангелии оно предстает как завещанное будущее состояние. Если

³ Малахов В.А., Чайка Т.А. Преодоление молчания: свидетельство, отвечание, исповедь // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова. Материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 26-27 мая 1997 г.) СПб.: Изд-во Института Человека РАН (СПб Отделение), 1997. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Malah_PreodMol.php

для З. Фрейда человек является жертвой своего детства, которое тянет его назад, то слова Христа имеют противоположный смысл: *таковых есть Царство Небесное* (Мтф 19: 13) – детство есть дар и путь.

Последнее наиболее уязвимо, поскольку при соскальзывании детскости в инфантильность, а современный мир склонен к детскости именно в форме инфантильности или педократии⁴, возникает ситуация безответственности и несамостоятельности, что может быть названо «не на своих ногах стояние», а значит квалифицируемо либо как нравственно-моральная ущербность, либо в свете паталого-медицинском, как болезнь. Достаточно часто, когда хотят указать на несообразности поведения взрослого человека, ему говорят: «Ты (Вы) как ребенок». Именно в таком порицающем смысле психического нездоровья (психопатологической подоплеки, невротического комплекса) воспринимает детство сознание, движущееся в однозначных дуальностях: причина-следствие, средство-цель, прошлое-будущее, ребенок-взрослый, больной-здоровый. И такое понимание детства чуждо М. Волошину, с явной неприязнью упоминающего слова «взрослой» г-жи Рашильд: *«Человечество в период от двух до двенадцати лет являет такие несомненные признаки умственной ненормальности, что слова ребенок и преступник – для меня синонимы»*⁵. Именно такое отношение к детству остается доминирующим в мире взрослых и что самое неприятное и опасное – в сфере реальной педагогики, т.е. в сфере реальных взаимоотношений взрослых и детей, когда задача взрослых: *«острыми и болезненными впечатлениями действительности оторвать ребенка от его естественного мира грезы, вылечить его от опасного безумия игры»*⁶.

Способ мышления, с позиций которого ребенок – это не более как маленькое животное не работает ни в пространстве живой жизни, ни в сфере искусства, ни в современной философии. Парадигмальный образ детства как чаемого состояния будущего задан Ф. Ницше в главе «О трех превращениях духа», более рано Гераклитом, говорящем о детстве и как предикате вечности (вечность это дитя, играющее в кости), и как парадигме человеческой жизни (лучше играть с детьми в пыли, чем заниматься взрослыми грязными делами). С точки зрения эфесского демоса и благовоспитанного буржуа их надо лечить или перевоспитывать, но вылеченные Ницше и Гераклит – это Коврин из «Черного монаха» Чехова.

М. Волошин приводит длинную выдержку из Кеннета Грэма, представляющую взгляд ребенка на мир таких взрослых, но кажется, что это он сам говорит о мире

⁴ Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество // С. Н. Булгаков Сочинения в двух томах. Том 2. Избранные статьи. – М.: Наука, 1993. – С. 302–342.

⁵ Волошин М. Откровения детских игр. – Режим доступа: <http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/mv/?r=proza&id=2>

⁶ Волошин М. Откровения детских игр. – Режим доступа: <http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/mv/?r=proza&id=2>.

взрослых приличных людей: «Самой безнадежной чертой их характера было то, что, имея безграничную свободу пользоваться радостями жизни, они не извлекали из этого ничего, – они могли бы по целым дням плескаться в пруде, гоняться за курами, лазить по деревьям в самых новых воскресных платьях, могли бы стрелять из пушек, раскапывать рудники среди луга... и они ничего этого не делали. Существование этих олимпийцев казалось лишенным всякого интереса, все движения их были несвободны и медленны, а привычки однообразны и бессмысленны. Они были слепы ко всему, чего не видно. Они ничего не знали об индейцах, ничуть не беспокоились о бизонах и пиратах (с пистолетами!), хотя все кругом было полно мрачных предзнаменований. Они не любили разыскивать пещер разбойников и искать кладов. Мы всегда недоумевали, когда олимпийцы говорили при нас, например за столом, о разных политических и общественных пустяках, воображая, что эти бледные призраки действительности тоже имели какое-нибудь значение в жизни. Мы же, посвященные, ели молча; головы наши были переполнены новыми планами и заговорами; мы бы могли сказать им, что такое настоящая жизнь! Мы только что покинули ее на дворе и горели нетерпением снова вернуться к ней. Эти странные, бескровные существа были куда дальше от нас, чем наши любезные звери, делившие с нами естественную жизнь под солнцем»⁷. Если соотнести данную реконструкцию детского взгляда с известными по воспоминаниям «организационным формам» жизни самого Волошина, то явственна их созвучность. Шутливо-ироническое именование «обормоты» для седовласых и желторотых гостей дома Волошина (рифмоплетов, живописцев, живоглотов, одетых в хитоны и венки) перемещает нас из целерационально текущего мира повседневности в пространство праздника.

О связи евангельского «Будьте как дети» с антиутилитаристскими и антиморализаторскими интонациями Волошина говорит Э. Соловьев, при этом отмечая, что реальность эсхатологического и мессианского инфантилизма, на которую напоролась утопия возрожденной детскости, наиболее просто ведет к реабилитации рассудка, признанию метафизических прав за утилитарной трезвостью, но М. Волошин не пошел по этому пути⁸. Э. Соловьев говорит о проработке Волошиным темы «человека играющего», размышления и свидетельства Волошина о природе и сути детства углубляют наше понимание человеческого бытия. Из волошинских заметок вырастает то, что можно назвать философией детства.

Первое, что необходимо отметить при установлении волошинской проработки темы детства, – это предельное заострение им проблематики, выделяя самое существенное в нем: «Времена детства далеки не только годами, они кажутся нам иной

⁷ Волошин М. Откровения детских игр. – Режим доступа: <http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/mv/?r=proza&id=2>

⁸ Соловьев Э. «Благослови свой синий окоем». Космоперсонализм и историософская ирония Максимилиана Волошина // Русский журнал. – 1998. – Режим доступа: <http://old.russ.ru/journal/kritik/98-03-26/solov.htm>

эпохой, пережитой на иной планете и в оболочке иного существа. Самое понятие времени в то время было совершенно иное: каждая минута была сгоранием целой жизни, властным водоворотом, которому мы не могли противиться. Количественно пережитого узкие пределы одного дня раздвигались до пределов целого года. Острое ощущение новизны придавало особую сосредоточенность жизни, в которой не было повторений и общих мест. Каждое явление вставало в своей первобытной полноте и громадности, не смягченное никакими привычками. Поэтому, когда мысленно оборачиваемся мы к той поре жизни, нас поражает огромность мгновений и особая медлительность общего течения времени»⁹. В качестве характеристик, схватывающих сущность детства, можно принять выделенные формулировки: особое течение времени, особая сосредоточенность жизни, пребывание в ином измерении бытия.

Мотив остановки и расширения времени очень важен для Волошина – отзвуки его встречаются достаточно часто в его поэзии. Но в связи с осмыслением детства он особенно значим и именно это выявляет философско-метафизическое измерение волошинской мысли. Помещение детства в прошлое эмпирично и с этой точки зрения детство не есть жизнь во всей своей полноте, а лишь некоторая подготовительная ступень, следовательно, ребенок еще не совсем человек, но некоторый недоразвитый взрослый. Вследствие подобной установки складывается двойственное отношение к детям: поскольку ребенок еще не стал полноценным человеком, то к нему возможно отношение как к забавной зверушке, которую можно ласкать, баловать, дразнить, шлепать, обманывать, дрессировать, но в то же время, поскольку ребенка необходимо «сделать человеком», требуется поучительно-строгое отношение – хочется приласкать, но из воспитательных соображений следует быть серьезным и строгим.

Иной взгляд на детство возможен при разрушении взгляда, обусловленного точкой времени. Итак, если исключить утилитарно-объектный подход к детству, то выявляется такая его характеристика, как пластичность, необычайная живость форм, возможностей, его открытость миру – желание охватить и схватить все, побывать всем и всегда. Подобная пластичность с точки зрения будущего состояния может рассматриваться как сырой материал для лепки, как поле деятельности воспитателей. Но взятая сама по себе она есть совершенная неопределенность, как реально-сущая возможность, как «сущая мочь» (Николай Кузанский, С. Франк), как основание всего и тем самым безосновное ничто, темное Ungrund Я. Беме.

⁹ Волошин М. Откровения детских игр. – Режим доступа: <http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/mv/?r=proza&id=2>

Наше время с его недоверием произносимому слову, просвещающему и воспитывающему, порой возводит детство в центр культурно-исторического движения, что имеет определенный смысл и определенное основание. Наиболее решительно и последовательно подобная точка зрения выражена в «психогенной теории истории», связанной с деятельностью Л. Демоза и «Общества психоистории». Хорошо известна значимость детства в развитии индивида. Точное количественное выражение составляющей детского возраста в способностях взрослого человека приводится разное, но несомненно, что детство каждого человека закладывает ту основу, которая в дальнейшем разворачивается, эксплицируется. Более того, мерой возможностей человека может выступать детство – поскольку оно представляет собой предельную открытость.

Отношение переворачивается: не взрослые лепят и формируют детей, а детство, как вновь рожденная душа, определяет человека. Взрослые играют роль не формообразующего фактора, а лишь условия развития. А потому цель, которую допустимо ставить по отношению к ребенку, – не изменение ребенка путем влияния на него как на еще только будущего человека, а лишь изменение условий, влияния на условия жизни этого человека. Что происходит с нами в детстве и как рождается душа, которая жаждет любви и ласки, – невозможно расписать рецептурно-методически. Чудо произнесения первого слова, и даже ранее – чудо первой встречи взгляда, осмысленность которого не столько предметная нужда, сколько бытийственная обращенность, – равносильно и равнозначно творению мира. Когда еще нет слов, нет поступков и даже деяний – но человек есть, вернее – присутствует. *«Назовем существо человека присутствием. Вещи существуют. Животные живут. Человек существует как вещь, живет как живое существо, присутствует как может присутствовать только человек и все человеческое»*¹⁰. Поскольку существо человека – присутствие, новорожденное дитя (и даже еще не рожденное) полноценно присутствует в мире.

Если несколько вольно применить слова С. С. Аверинцева о древнегреческой философии как созидающей сцену, простор для разворачивания дальнейших споров и открытий¹¹, то детство в полной мере может быть названо созидателем сцены нашего жизненного пространства, и все дальнейшее течение жизни явится лишь бледно-эволюционным разворачиванием детского «да будет!». Полнота и сила детского чувства соразмерна первой встрече с миром вокруг и миром в себе. Мы можем не считаться с

¹⁰ Бибихин В. В. Мир. – Томск : Водолей, 1995. – С. 24.

¹¹ Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного ряда // Новое в современной классической филологии. – М. : Наука. – С. 41–81.

детскими желаниями, тем не менее, каждый знает в себе то удручающее чувство тоски и скуки, «*те серые сумерки души по мере того, как все более потухал свет детства*»¹².

Именно такое содержание детства характерно для Волошина и такое понимание значимо для философии, ибо детство, как ничто другое в человеческой жизни и в человеческом мире, есть по сути своей первоисток и первооснова – философия же сама как некоторое знание и стремление есть поиск оснований, первопричин и первоистоков, архе. Детство во всей своей конкретной полноте есть вечно неготовое, незавершенное произрастание, которому предстоит осуществиться, и потому как чистая потенциальность, всевозможность совпадает со свободой. Как раз в этом и коренится главная проблема и мука детства: по своей сути, природе, форме оно есть «*потенциальность, мочь стать тем, что оно еще не есть, а именно это мы называем свободой*»¹³, и в то же время по своей наличной форме оно рабски стиснуто как неистовостью физических влечений, так и характером, нравом, образом жизни окружающих людей.

Дети и свобода – крепкий орешек для взрослых. Мы не можем растить детей, не вводя их в мир нашей жизни – наших привычек, языка, интонаций, предметов, правил, ибо они – наши дети, у нас и нами рожденные, пришедшие к нам в наш мир. Но в то же время они – люди *своего* будущего, люди *своей* жизни. Пришли они в *нашу* жизнь, а жить будут *свою*. Мы не можем знать, что произойдет с ними в их жизни и даже толком не знаем, чему их учить. Поскольку они есть вновь рожденная человеческая жизнь, они не могут стать людьми, не совершая *собственных* деяний. А мы желаем, чтобы они продлили наши жизни и сделали нас бессмертными, чтобы они продолжали наши дела.

Вся проблема воспитания, таким образом, видится как одарение детей свободой, как поиск форм организации их жизни, адекватных природе и сущности детства, причастной первичному творению мира, к его всеполноте, конкретно-сущей всевозможности. Детская игра принадлежит к таким формам, где обретается прямая связь человека с трансрациональной глубиной реальности. В игре ребенок обретает собственную меру и самостоятельность, умение самоопределяться, умение быть свободным. Главное, чему мы должны научить своих детей – это умение быть свободными. Самое ценное, чем мы можем их одарить – это свобода. Сама сложность сочетания этих двух слов – «дети» и «свобода» – говорит о проблеме, которая кроется здесь. «Им только дай свободу», – говорим мы, подразумевая, что наше дело держать их

¹² Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М. : Республика, 1994. – С. 13.

¹³ Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Сочинения / С. Л. Франк. – М. : Правда, 1990. – С. 254.

в узде, а свободы и так у них предостаточно. Мы приглаживаем, прилаживаем детей к нашему миру предметов и отношений, мы хотим продлить себя в детях, но, ослепленные собственным бессмертием, насилуем детскую природу. Ранее уже приводились волошинские строки о насилии как сути воспитательных воздействий, уязвляющие каждого взрослого. Можно зафиксировать проблему: как сохранив силу, устранить насилие?

Потому и неладно с нашими детьми, что мы лишаем их собственного становления и не даруем им свободу. Конечно, в конце концов дети сами завоевывают свободу, буквально вырывая ее из наших рук, лишая нас самих свободы. Но свобода, завоеванная в борьбе, не может не быть «свободой от», не может не стать бегством и отрицанием. Такая свобода подпитана рабством и слишком часто остается просто бунтом. Разрыв между поколениями усугубляется тем, что мы растим детей в мятеже и бунте, говоря словами Вячеслава Иванова, как *«рабы растят рабов»*¹⁴. Свобода, полученная как дар и естественное дыхание, лепит свободную душу, являясь ее единственным основанием, являясь «свободой для». Насколько мы можем сделать это по отношению к нашим детям, настолько будет свободна их природа, основа.

Основная задача, открывающаяся перед взрослыми людьми, – ввести в мир детства свободу и тем самым через свободу ввести детей в мир действительной жизни, одарить их миром. Не случайно все человеческие способности принято называть «даром» – ребенок получает их даром, бескорыстно от человеческого мира. И далее – освоение всех способностей возможно лишь в бескорыстно-свободном отношении к миру. Мы не можем знать меры и возможностей человеческого бытия, пока не знаем свободного детства. Убегающий – не свободен (Гегель), свобода, завоеванная в борьбе, не освобождает, а лишь снимает скорлупу допустимого. Освобождает природу человека свобода-дар, ставшая самостью, основанием, природой. Свободный ребенок становится учителем взрослого, ибо творит мир заново. Дети являют собой меру человеческого бытия, бытия как такового – вхождение в состояние детскости принадлежит высшим состояниям: *Пройдёмте по миру, как дети*¹⁵.

Именно при рассмотрении феномена детства явственно христианское измерение мысли Волошина и это выразительно засвидетельствовано в стихотворении «Пещера». В выраженно-явной форме это проявление его увлечений антропософией, но понимание детства как времени особенного сосредоточения жизни выходит за пределы

¹⁴ Иванов Вяч. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. – М. : Мусагет, 1916. – С. 174.

¹⁵ Волошин М. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1899 –1926/ Сост. и подготовка текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Комментарий В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак, 200, 2003. – С. 46.

антропософии. Хотя комментаторы говорят, что в стихотворении «Пещера» дано антропософское истолкование деторождения – вариант заглавия «Пещера нимф» напрямую отсылает к трактату Порфирия «О пещере нимф», об этом же говорит сам Волошин в письме к Сабашниковой: *«Дух должен причаститься плоти <...>. Надо войти в таинственную Пещеру Нимф, где водные нимфы ткут пурпурную пряжу жизни, где один вход для богов и один выход для людей. Это святая пещера зачатий»*¹⁶. Но в письме М. С. Цетлиной указывается более глубинное понимание: *«Мне кажется, что в мировой гармонии у чувственности – явления по самому существу противоположному любви, нет иного объяснения, кроме того, что так в нашем мире проявляется чье-то желание воплощения»*¹⁷.

Во-первых, на мой взгляд, в нем есть и очень простой, без замысловатостей антропософской мистики (в своем роде очень остроумной и тонкой), смысл возврата к себе иному, тому, что был в детстве, но утерян в житейской суете, к той первичности, которая есть в детстве. И во-вторых, «Пещера» может быть прочитана как свидетельство напряженности и обостренности проблематики плоти, без установления чего нельзя понять подростка:

*Сперва мы спим в пурпуровой Пещере,
Наш прежний лик глубоко затая:
Для духов в тесноту земного бытия
Иные не раскрыты двери.
Потом живём... Минуя райский сад,
Спешим познать всю безысходность плоти;
В замок влагая ключ, слепые, в смертном поте,
С тоской стучимся мы назад...
О, для чего с такою жадной грустью
Мы в спазмах тел палящих ищем нег,
Устами льнём к устам и припадаем к устью
Из вечности текущих рек?
Нам путь закрыт к предутренней Пещере:
Сквозь плоть нет выхода – есть только вход*¹⁸.

Внимание к вопросам плоти и пола, столь характерное для мыслителей Серебряного века, достаточно часто толкуется как возвращение к язычеству, что не имеет смысла опровергать, настолько это очевидно. Но вот то, что христианское

¹⁶ Волошин М. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1899 –1926 / Сост. и подготовка текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Коммент В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак, 200, 2003. – С. 486.

¹⁷ Волошин М. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1899 –1926 / Сост. и подготовка текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Коммент В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак, 200, 2003. – С. 486.

¹⁸ Волошин М. Собрание сочинений. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1899 –1926 / Сост. и подготовка текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Коммент В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак, 200, 2003. – С. 150.

сознание не тождественно акцентуированному дуализму души и тела, духа и плоти не обрело надлежащей очевидности в современном мире. Как ни парадоксально это прозвучит, но для христианина одной из задач есть освобождение плоти, т.е. очищение плоти, устранение искаженных форм ее¹⁹. Одна из самых навязчивых форм несвободы человека – нерефлексивное следование за инстинктом, что невозможно преодолеть введением рефлексивной инстанции. В таком случае на место инстинктивного автоматизма становится автоматизм рассудочный, но ситуация несвободы остается. Ситуация несвободы в контексте упомянутых понятий может быть прочитана как аутичная замкнутость на самости – отсюда чисто христианское движение мысли: *кто-то за стеной волнуется и ждет... Ему мы открываем двери*. Этот кто-то другой и создает освобождение от аутичной замкнутости на самости. Для понимания этого уместны слова М. Волошина, сказанные его будущей жене Марии Степановне – я бы не хотел, чтобы мы превратились в чудовище о двух спинах. И речь не столько о сексе, хотя образ взят из этой сферы, сколько о чудовищности отъединенности и приватности, что делит мир на своих и чужих. Для облика Волошина характерна беспартийная открытость:

В шквалах убийств, в исступленьи усобиц

Я сохранял всеединство любви²⁰.

В начале шла речь о свете его личности, удостоверяющем все сказанное им, и этот свет особенно нужен нам в ситуациях враждебной подозрительности.

¹⁹ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М. : Coda, 1997. – С. 25–26.

²⁰ Волошин М. Собрание сочинений. Т. 2. Стихотворения и поэмы 1891–1931 / Сост. и подготовка текста В. П. Купченко, А. В. Лаврова; Коммент. В. П. Купченко. – М. : Эллис Лак, 200, 2004. – С. 86.